

18+

Э. Григ-Армян



БАГРОВЫЙ ЯД ДНЕЙ ЛИКОВАНИЯ

Э. Григ-Арьян

Багровый яд дней ликования

«Издательские решения»

Э. Григ-Арьян

Багровый яд дней ликования / Э. Григ-Арьян — «Издательские решения»,

Первая книга трилогии, в которую также входят «Пробуждение» и «Густой туман забвения». Главный герой — писатель, чья судьба отмечена роковым клеймом прошлого. Он — наследник поколения, перемолотого жерновами репрессий. В нем живет дух непримиримый, мятежный. Он остро ощущает нависшую над ним тень угрозы и предвидит, что, скорее всего, не сможет избежать предначертанной участи.

Содержание

I	6
II	14
III	21
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Багровый яд дней ликования

Э. Григ-Арьян

*Огонь в сердце моем, огонь!
Пожар там, пылает, горит...
Егише Чарени.*

Иллюстратор Рубен Григорян

© Э. Григ-Арьян, 2026

© Рубен Григорян, иллюстрации, 2026

ISBN 978-5-0071-3777-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

I

Под шепот улиц, словно тайное заклинание, мы шли навстречу, уверенные и полные надежд. Предрешенная тропа вела нас, и каждый шаг отмерял секунды до желанной встречи. Внутренний огонь пылал, неудержимо влек нас друг к другу, обещая долгожданный миг.

— Привет Мари.

— Привет Жан.

Перейдя на противоположную сторону улицы, я, в духе старых романов, взял Мари под руку, уводя ее от края мостовой. За поворотом, меж стен громадных зданий, равнодушных и пестрых, нас встретил густой аромат кофе, и тут меня кольнуло: снова придется общарить холодильник моей благодетельницы в поисках пропитания, пока не придет денежная подпитка из родных краев.

Возможно, слово «общарить» здесь звучит несколько резко, однако, моя домовладелица, будучи женщиной проницательной, вероятно, все прекрасно понимает и снисходит к моему, по обстоятельствам вызванному, поступку. Впрочем, она благосклонно взирает на эту мою необходимость, ибо я никогда не преступаю неких незримых черт.

Квартплата внесена, и груз сомнений отступает, уступая место тихому, почти телесному облегчению, и каждый раз закрывая дверь на ключ, я невольно ощущаю, как в душе зарождается робкое чувство обладания, пусть и весьма условного, правом на это временное жилище.

Две головки овечьего сыра и мешок картофеля, что привезут из деревни, составят мой скромный, но верный провиант до самой осени. Пропитание, стало быть, обеспечено. И ведь мог бы я еще уповать на стипендию, будь она хотя бы на три четверти щедрее, не будь вокруг столькоких праздных умов, лживых посулов и кафе, где портвейн льется рекой. Но нет, уж лучше обогатить душу, отдаться служению искусству, принадлежать Мари, словно дару небес, и, не считая последних монет, грезить о неземном великолепии женственности Элизабет Тейлор, что царствовала в чертогах двух Цезарей.

Мы шествовали, горделиво вскинув головы, с упругой поступью; руки по-юношески беспечно засунуты в карманы. Сияние молодости и здоровья, бьющее ключом, окрашивало нас неземной красотой, и это пьянящее чувство, каскадом восторга захлестывая горы и долины, стремилось окутать собой весь мир. Каждый вдох свежего ветра, ласкавший легкие, не омраченные табачным дымом, и пленительное присутствие Мари рядом — все это казалось не случайностью, но символом неизбежной гармонии.

— Это не начало рассказа, — прозвучал голос Даниеляна, словно погребальный звон по моим литературным потугам. — Начинать повествование в столь бесперспективной тональности — это верный путь в тупик, обреченная ветвь повествования, я более чем уверен, что ты не намерен развивать эту мысль, ибо исчерпал ее потенциал. Скажем так, ты сможешь извлечь, в лучшем случае, еще пару абзацев, и, пожалуй, на этом все иссякнет. То, что ты хотел донести, уже сказано, мысль выражена, но рассказа, как такового, еще и в помине нет.

Я предпочел сохранить молчание, ибо пререкания с ним всегда были предприятием бессмысленным. Он уже выстроил в своем сознании неприступную крепость собственной правоты и теперь неуклонно шествовал к ее триумфальному водружению. Мне оставалось лишь терпеливо внимать его пространной филиппике, ожидая момента, когда смогу вернуть свои скромные возражения, дабы обрисовать общую панораму беседы.

— Сейчас, — не унимался он, — ты, вероятно, вознамеришься уверить меня, что это повествование о романтической любви, и ты, по всей видимости, даже не подозреваешь, что в фундаменте романтической любви зиждется удовлетворение неутолимой сексуальной жажды. А по моему скромному разумению, твой герой, в грядущей сцене, отнюдь не пылает воодушевлением предаться плотским утехам. Любовь, лишенная плотской составляющей, — это жалкое подобие чувства, ибо именно секс срывает с очей пелену иллюзий и возвращает разуму его трезвость, даруя способность мыслить и созидать. Не веришь? Обратись к опыту старого Киплинга, вспомни, что стало с юношей, чьему взору открылись врата памяти прошлых жизней, едва он познал любовь. С другой стороны, ложе любви неминуемо низвергло бы твоё повествование в пучину пошлости, ибо твой синтаксис, бесспорно, отмечен печатью поэзии, и втискивать в столь изящную ткань грубые мазки плотских утех было бы кощунством. Так что держай, пиши, а мы посмотрим, куда кривая сия выведет. Только умоляю, избавь меня от этого торгашеского, бесчеловечного и никому не потребного постмодернизма, когда вдруг, по нелепой прихоти автора, выяснится, что твоё героиня — ведьма, способная воспарить в небеса. Я питаю стойкое отвращение к «Болеро» Равеля, ибо сие произведение, на мой взгляд, низвергло в прах все, что я так трепетно ценю в классической музыке, в частности, медленное сонатное вступление, рондо, с четким развитием лейтмотива, проникнутого скорбным или трагическим настроением, затем мощное, кульминационное крещендо и, наконец, стремительный, ликующий финал. Мой кумир — Сартр и его «Тошнота», и как мне мнится, постичь Сартра так, как постиг его я, не дано никому, ибо я родился и, по всей видимости, кану в Лету в тисках этого нестерпимого режима, который не рождает во мне ничего, кроме всепоглощающей тошноты. И я, как Сизиф, обречен влачить бремя этой тошноты сквозь всю свою сознательную жизнь, отчетливо осознавая собственное бессилие что-либо изменить. А ведь Сартр, в начале своего творческого пути, питал явную симпатию, я бы даже сказал — был пленен идеологией моей злосчастной отчизны, где цена человеческой жизни определялась прихотью вождя, мнившего себя вершителем судеб мирового пролетариата.

Звонок телефона — злой умысел судьбы, грубо вторгся в его монолог, и это, казалось, воспламенило его и без того взвинченную нервность.

— Что там еще? — презрительно процедил он сквозь зубы. — Я занят, не могу! — презрительно, почти выкрикнул он в звонивший телефон, но в его голосе мелькнула нерешительность, тень сомнения закралась, не стоит ли все же ответить. — Нет! Не могу, говорю вам, занят до предела! — продолжил он кричать, распаляясь все больше. — Чего вам нужно, в конце концов? Сколько раз повторять, сколько клясться, чтобы вы уяснили — не звонить, когда я погружен в работу!

Эта яростная тирада длилась непозволительно долго, словно он наслаждался собственным негодованием. За это время он вполне мог бы, взяв трубку, сухо отчеканить, что крайне занят и не имеет ни секунды для разговора. Наконец, повернувшись ко мне, он прошепел:

— Знаю, кто это! Чувствую, как они меня отслеживают!

— Может, все же ответите? — робко предложил я, пытаясь разрядить наэлектризованную атмосферу.

— Сейчас! — выплюнул он, будто соглашаясь на мучительную необходимость. — Сейчас! — и, с неожиданной яростью, шагнул к аппарату. Вместо того чтобы поднять трубку, он выдернул шнур с остервенением, словно вырывал жало из разъяренной плоти. И в тот же миг буря схлынула, оставив после себя лишь усталое раздражение, он, казалось, обмяк, с плеч свалился неподъемный груз.

— Вот! — выдохнул он с облегчением, смешанным с горечью. — Чтоб им всем... — закончить фразу он не стал, подходящих слов не нашлось даже в его богатом лексиконе. — Пить хочешь? — резко сменил он тему, поворачиваясь ко мне с внезапно проснувшейся заботой. — Сейчас, мигом! — он наклонился к низкому шкафчику, будто ныряя в прошлое, и

извлек оттуда бутылку коньяка и два бокала, словно драгоценные реликвии. — Ну конечно, пропадаешь, исчезаешь в своих загулах, и носа не кажешь... А ведь когда мы познакомились, я, дурак, думал, что вот так и будем, вот так...

Он открыл шкаф с пластинками, перебирая их дрожащими пальцами, будто перелистывая страницы собственной памяти. Найдя нужную, он протянул ее мне, как хрупкий дар.

— Вот, посмотри... Думал, так и будем, — сняв очки, он устало улыбнулся, и в этой улыбке, словно в зеркале, отразилось неумолимое течение времени. И тут, в мимолетной улыбке, промелькнувшей на его лице, я с внезапной остротой осознал, что передо мной — тень прежнего человека. Зубов почти не осталось, а протезы, видимо, были забыты в дальнем ящике стола.

Я взял пластинку, и на ее обложке увидел две мужские руки, сплетенные в теплом рукопожатии — символ дружбы, застывший в целлулоиде. Смех вырвался непроизвольно — не злорадный, но скорее нервный, вызванный нелепым контрастом между его пафосом и трогательной наивностью обложки. Он же, держа в одной руке две бутылки запотевшего лимонада, а в другой — открывалку и несколько плиток шоколада, молча застыл надо мной, наблюдая за моей реакцией с настроженным ожиданием.

— Ну конечно, можешь высмеивать старика, — горько произнес он, неверно истолковав мой смех, в его глазах мелькнула тень обиды. — Ничего, — продолжил он, оправдываясь перед самим собой. — Ничего, молод ты, многого еще не понимаешь... Постареешь — тогда, может быть, и поймешь, что такое в моем возрасте... дружить с тобой.

Он достал из шкафчика еще два пузатых бокала для лимонада и тарелку для шоколада. В бокалах запенился, как робкая волна, довольно холодный лимонад. Коньяк и вправду оказался неплох, согревая горло и разливаясь теплом по венам. Я налил себе вторую порцию, а он, медленно, смакуя каждый глоток, пил свою первую, причащаясь воспоминаниями о былом.

Его призывной возраст пришелся на грозные годы войны, о которой он старался умалчивать, лишь обронив, что все было далеко от героических кинолент, особенно после падения Берлина.

— Вернувшись с войны, меня обухом по голове ударило осознание — дома больше нет. Добрая моя матушка, рассудив, что сын, благодетельствованный государством, в отчет крове более не нуждается, безвозвратно подарила нашу четырехкомнатную квартиру в самом сердце города своим многочисленным бездомным родичам. Мне же в наследство достался лишь «Ад» Данте с гравюрами Гюстава Доре, издание 1874 года от типографии Бера и Германа, в потемневшем от времени кожаном переплете, отпечатанный на листах слоновой кости, и все. А квартира... квартира жены моей, и она еще переживет меня, эти проклятые долгожители. И не важно, что брак наш — сплошное разочарование, она — жена, и мы ютимся в одной квартире — в ее квартире. Я здесь гость, понимаешь, гость! Умру — и останется после меня лишь тишина да запустение. Я рассказываю тебе это, потому что верю, что ты способен между строк разглядеть ту глубокую, жгучую боль, что терзает мою душу. И если я особо подчеркиваю, что в наследство получил лишь «Ад», значит, так оно и есть. Быть может, когда-нибудь, в далеком будущем, ты захочешь поведать историю человека, рожденного орлом, дабы парить в небесной выси, но чьи крылья были безжалостно обрезаны, превратив его в жалкое, домашнее существо.

С утра шея, будто чужая, налилась свинцом и ныла, вероятно, подушка вновь ускользнула из-под головы, и теперь, подобно волку, я не мог повернуть шею, вынужденный разворачиваться всем корпусом, чтобы слышать его исповедь.

— И вот однажды, — переходя ко второй порции коньяка и любезно предлагая мне шоколад, продолжал он, — однажды, открыв телефонную книжку в тщетной надежде найти хоть одно знакомое имя, я с ужасом осознал, что в этом огромном городе я — абсолютно одинок. Среди тысяч безликих номеров не нашлось того единственного, родного, к которому можно было бы обратиться за помощью, за простым человеческим советом.

Его однокомнатная квартира, принадлежавшая жене, была для него скорее временным пристанищем, чем домом. Он словно гость в собственном жилище, среди скромной обстановки, среди случайных предметов, призванных лишь заполнить пространство. Но какая обстановка могла по-настоящему волновать его, когда все мысли, все чувства безраздельно принадлежали музыке? В дальнем углу, притаившись у стены, — диван-кровать, нерешительный зритель. В центре — стол с тремя стульями, ждущие случайных гостей. У задней стены — небольшой платяной шкаф, отбрасывающий свое молчаливое присутствие тенью. И все. Это было царство обычной жизни, но истинное сердце квартиры билось у противоположной стены, целиком посвященной музыке, его страсти и утешению.

О, эта стена заслуживает отдельного, благоговейного описания, ведь в ней, как в зеркале, отражалась вся его мятущаяся душа. В правой части, как священный образ, сиял плакат Чарли Паркера, за стеклом и в тонкой, изящной раме. Паркер, запечатленный в твидовом пиджаке с широкими лацканами, в черной рубашке и галстук, устремлял вдохновенный взгляд на саксофон, из которого, казалось, вот-вот польются божественные звуки. «Почему именно Чарли Паркер?» — шептала эта стена, — «Потому что он — неиссякающий источник, живой родник вдохновения для сотен, тысяч музыкантов.»

Далее, узкий и устремленный ввысь стеллаж — музыкальный алтарь. На первой полке, как драгоценные реликвии, выстроилась отборная коллекция пластинок. Только избранные, те, что звучали чаще всего, оставались здесь, лишние же покидали это святилище, проданные или обмененные на новые сокровища. На второй полке возвышался ламповый предусилитель, преображающий плоские волны в живые, трепетные краски, изгоняющий из музыки призраки резонансных шумов и искажений, наполняя ее несравненным, поющим сиянием. Выше — оконечный усилитель, обещающий великолепие звукового объема, затем кассетная дека, и на вершине — проигрыватель винила, венчающий этот музыкальный пантеон.

По обеим сторонам, на подставках, будто стражи звукового мира, возвышались трехполосные акустические системы. Огромные басы, густые, обволакивающие, казалось, проникали не в уши, а глубже — в самую душу, заставляя вибрировать каждую клеточку тела. И в правом углу, в тени Чарли Паркера, скромный книжный шкаф — последний штрих этой музыкальной симфонии. Телевизора не было — лишний шум в этом храме звука был бы святотатством.

— О чем задумался? — спросил он, нарушив густую тишину.

— Ни о чем особенном, так... — пробормотал я, отводя взгляд.

— Я чувствую, что это не «просто так», говори.

— Думаю, не стоит ворошить...

— Стоит. Я нутром чую, что тебя что-то гложет, изъедает изнутри. Выговорись, облегчи сердце, — настаивал он, впиваясь в меня пытливым взглядом.

— Слова не складываются, — признался я, чувствуя, как ком подступает к горлу.

— Режь правду-матку, как есть. Ибо ложь —zybучий песок, засосет и не выплюнет. Лучше горькая правда сейчас, чем гнилая ложь, что рано или поздно всплывет на поверхность, отравляя все вокруг.

Я долго колебался, говорить или не говорить. Позже, конечно, пожалел об этом, посчитав свою затею глупой и бессмысленной. Но с другой стороны, нужно было как-то обозначить свою позицию в этом щекотливом вопросе.

— Ходят слухи... шепчутся, что... ваши интересы в личной жизни, кажется, лежат немного в другой плоскости, чем у большинства, — выпалил я, словно горячий уголь, и тут же почувствовал, как фраза повисла в воздухе, тяжелая и многозначительная.

— Вот как? — усмехнулся он, в его глазах мелькнул стальной блеск. — И ты, как люмпен-шваль, забился в кусты, трясясь от страха, чтобы, не дай бог, эта тень... эта молва не упала на твой хрупкий образ «интеллигента», который ты так тщательно лепишь для себя, а сам

труслив, как заяц. Вот почему тебя столько дней не было видно, испарился. Дружба с тем, о ком так говорят, конечно, не вписывалась в твои высокопарные планы.

Я ничего не ответил, так как это было бессмысленно. Он принадлежал к породе людей, чьи уши захлопываются перед чужим словом, как створки ставней перед бурей. «Нужно переждать, пока этот словесный поток не иссякнет», — решил я, внутренне съеживаясь под градом его слов.

— Да пошли ты их всех к черту, — не унимался он, распаляясь все больше. — Какое собачье дело этим шавкам, с кем я вожусь, с кем пью и ем. Пусть сначала отмоют свои грязные души, прежде чем разевать рты и совать свои длинные носы в чужое белье. Это так, для затравки. А теперь, что касается меня... да, мои интересы действительно лежат в другой плоскости — в плоскости глубокого восхищения женской красотой, преклонения перед женщиной во всем ее многообразии. Мужчины меня не привлекают. Но это не имеет равным счетом никакого значения. Твой поступок — вот что отвратительно.

Он глубоко вздохнул, словно выплескивая разом весь накопившийся гнев.

— Молчишь? Значит, сказать нечего, — заключил он, и сам же ответил на свой вопрос: — А что ты можешь сказать в свое оправдание? Как ты прятался в кустах, дрожа как осиновый лист?

— А то, что я с самого утра здесь, сижу перед вами, читаю вам свой рассказ, именно вам, а не кому-то другому, это разве ничего не значит?

— Не знаю, что это значит, — пожал он плечами, в его взгляде не было и тени раскаяния.

— Это значит, что мне плевать с высокой колокольни, кто и что о вас думает. Мне совершенно безразлично, каковы ваши личные интересы, с кем вы делите свою жизнь. Я просто хотел сказать вам, что ваш интеллигентный облик, ваши шейные платки, ваш певучий слог, добавлю к этому еще и манеру целовать руки всем женщинам без разбора, достойным и недостойным, — все это воспринимается людьми искаженно, двусмысленно, как подтверждение тех самых «особых интересов». И я счел своим долгом предупредить вас об этом, чтобы вы не метали бисер перед свиньями.

— Ты думаешь, я слепой? Ты полагаешь, что ты открыл мне глаза, и я тут же брошусь сжигать свои шейные платки и перестану целовать женские руки, чтобы изменить восприятие своих интересов?

— Я не это имел в виду, — устало вздохнул я.

— Нет, милый мой, именно это ты и хотел сказать, — злорадно усмехнулся он.

— Тяжело с вами, — пробормотал я, чувствуя себя загнанным в угол.

— Конечно, тяжело, — его улыбка стала еще шире. — Легко с ними, с этой серой биомассой, что распускает грязные сплетни, мысля примитивными штампами и изрыгая однообразное бормотание.

— Сигареты есть? — спросил он после долгой паузы, внезапно переключив регистр разговора.

— Я не курю, — ответил я, стараясь сохранить спокойствие.

— Конечно, «не курю». Мог бы просто сказать «нет», и все. Вот оно что: прозвучавший вопрос всегда вторичен, в ответе главное — самолюбование. Деньги есть?

— Есть, — подтвердил я, чувствуя, как горечь поднимается в горле.

— Слава Богу. Дай мне пятнадцать копеек, верну через пару дней, пенсию получу.

Мне не нужны были его пятнадцать копеек, но возразить означало разжечь новую волну гнева.

— Пошли, — вдруг сказал он, вставая с кресла.

— Куда? — не понял я, растерянно глядя на него.

— Пошли. Увидишь, как я на пятнадцать копеек умудряюсь достать сигареты за шестьдесят.

— Как? — невольно вырвалось у меня.

— Увидишь, — загадочно улыбнулся он, и в его глазах вновь мелькнул тот стальной блеск, от которого по спине пробежали мурашки.

Серый день встречал нас на улице накрапывающим дождем, но не из тех, что заставляют искать спасения под козырьками и навесами, или, в крайнем случае, раскрывать зонт. Впрочем, одинокий мужчина с зонтом, без дамы, чье присутствие оправдывает этот аксессуар в мужских руках — исключительно над ее головой, или, если зонт достаточно широк, под общим кровом — в наших краях выглядел бы как вызов общественному вкусу, нечто почти непристойное. Здесь рождаются и умирают, не расставаясь с предрассудками и суевериями, с неписанным кодексом чести и достоинства, впитанным с молоком матери. И этот кодекс отпускает тебя лишь тогда, когда ты вырываешься из общего хора, подобно птице, отбившейся от стаи, навсегда потерявшей нить перелетных путей.

В полумраке фойе кинотеатра напротив, как островки шумного веселья в будничной серости, поблескивали игровые автоматы. На стенах висели поблекшие афиши какого-то западного фильма, обещавшие приключения и взрывы. У касс же клубилась жаждущая зрелищ толпа, словно взбудораженный улей. Голоса взлетали криками, зеленые билеты, как заветные талисманы, переходили из рук в руки в этой лихорадочной суете. Купив билет, нужно было подняться по лестнице слева, уходящей в полумрак, и предъявить его контролеру, застывшему в тесной кабинке, напоминающей будку часового. И только тогда... Но контролер, казалось, был воплощением невозмутимости. Он, словно каменное изваяние, взирал на бородатого юношу, чьи хриплые, сбивчивые крики, казалось, не достигали его слуха. Из обрывков фраз, будто обломков разбитой вазы, становилось ясно, что юношу волновал не кинематограф, а более прозаическое место — туалет, расположенный в недрах кинотеатра. Его сбивчивые объяснения сводились к острой необходимости воспользоваться уборной. В качестве залога он предложил наручные часы, но контролер оставался невозмутим. Тогда юноша, в отчаянии, сорвал с себя чистый, тщательно выглаженный твидовый пиджак, бросил его на прилавок контролеру и, как вихрь, пронесся мимо, исчезнув за дверью. Контролер было дернулся за ним, но тут же остановился, разглядывая оставленный пиджак. Тут-то до него и дошло, что никакой хитрости в действиях юноши не было, а был лишь отчаянный порыв человека, которого приперло. И пиджак, надо отдать должное, оказался весьма неплох.

У стены напротив, словно выставка забытых надежд, висели выцветшие от времени цветные фотографии кинозвезд минувших лет. Под ними, подобно алтарю фортуны, возвышался застекленный ящик игрового автомата. За пятнадцать копеек можно было испытать судьбу, попытавшись выудить из его недр призрачный приз. Даниелян, словно показывая фокуснику карту, продемонстрировал меняле зажатую в кулаке блестящую монету, не требуя размена. Молодой человек напротив бросил на меня взгляд, исполненный безразличия, полагая, что каждый входящий в это место должен быть ему знаком. Даниелян же, невозмутимый, приблизился к автомату, опустил в прорезь монету, нажал кнопку и, собравшись, будто перед решающим броском, начал управлять клешней-захватом. Клешня двигалась неспешно, словно нащупывая путь в неведомом лабиринте, то скользя вперед, то замирая, то вновь устремляясь в желаемом направлении. В конструкции автомата такое управление явно не было заложено, но в руках Даниеляна механизм, казалось, поддавался какой-то тайной, почти мистической силе. Я, завороженный, следил за его манипуляциями, а он был полностью погружен в свою игру, сосредоточив взгляд на пачках сигарет и медленно движущейся клешне. И вот, захват опустился прямо на две пачки, стоявшие плечом к плечу. Клешни цепко схватили обе и поволокли к выдаточному окошку, но на полпути одна пачка, не удержавшись, выскользнула и упала в недра автомата, а другая благополучно достигла цели.

— Эх, черт! — досадливо воскликнул он, но тут же махнул рукой: — Ничего, и одной хватит.

— Как так получилось? — не скрывая удивления, спросил я.

— Что именно? — Даниелян пожал плечами, будто речь шла о чем-то само собой разумеющемся.

— Ну, как клешня... она ведь двигалась рывками, останавливалась...

— А-а, — протянул он с легкой улыбкой. — Это мой секрет. Приходится применять, когда фортуна не слишком благосклонна.

Мы вышли из сумрака кинозала в зябкую свежесть вечернего воздуха. Дождь стих, уступив место робкому дыханию ветра, но город еще дышал влагой, отражая в зеркалах луж, усеявших тротуар, бледные отсветы фонарей. Мы шли, лавируя между этими водными осколками, когда мимо нас, словно призрак из тумана, проплыл старенький микроавтобус. В его мутных окнах, за пеленой табачного дыма, мелькнули темные силуэты мужчин. Их голоса, доносившиеся сквозь закрытые стекла, казались обрывистыми и горячими, а жестикуляция рук — неистовой пляской в полумраке салона. Мое воображение, как голодный зверь, готово было вцепиться в эту мимолетную сцену, развернуть ее в полотно будущей истории, но что-то сдержало меня. Я отбросил эту мысль, и, чтобы вновь направить русло беседы, произнес, вдыхая влажный воздух:

— Как же мне нравится этот запах земли после дождя!

— Земля не пахнет, — отозвался он, будто рассеивая дымку романтики. — Это растения в засуху источают масла, которые глина впитывает, как губка. А дождь, освобождая их, смешивает с водой, и этот аэрозоль, поднимаясь в воздух, дарит нам иллюзию аромата земли, — пояснил он с оттенком учености и добавил, как бы невзначай: — А знаешь ли ты, что в семнадцатом веке в Англии существовал закон о дожде? За неверный прогноз погоды метеоролога казнили.

— Не знал... — пробормотал я, пораженный. — Бедняга метеоролог.

— Никакой не бедняга. Нечего соваться не в свое дело.

— Но метеорологами не рождаются, — возразил я, — это профессия, требующая знаний и опыта. Они учатся на ошибках, а его лишили права на ошибку, отправив сразу на плаху. Это же абсурд!

— Вот именно, что метеорологами рождаются, как и следопытами, и поэтами. Нельзя проснуться утром и решить: «Сегодня я стану гением». Это дар свыше, удел избранных. Прогресс, о котором ты говоришь, — лишь современное пустословие. Нынешний человек, по своим истинным ценностям, жалкая тень человека эпохи Возрождения. И это факт неоспоримый. Где они, новые Леонардо, Микеланджело?

— Мир развивается по спирали, а не по прямой восходящей, — вставил я, пытаясь отстоять свою точку зрения.

— Именно так. Есть предел, черта, выше которой не взлететь.

— Но стремление к полету остается всегда, — не сдавался я.

— Потому что ты молод, и это прекрасно. Но запомни: что бы ты ни сотворил, до тебя это уже было сотворено. Сейчас ты скажешь: «А Ньютон?» Дескать, он открыл нечто доселе неизвестное. Ерунда. Ньютон ничего не открыл, он лишь первым осознал и записал закон, явленный божественной волей. Не Ньютон заставил яблоко падать вниз, а не вверх. Все нерукотворное — духовно. Все, что создано руками человека, лишено истинной духовности, за исключением, пожалуй, поэзии, музыки и живописи. Но и в них не забывай о божественном первоисточнике. Художник лишь соединяет линии, начертанные ему Всевышним.

Тень печали легла на меня от этих слов, пропитанных безнадежностью. Юношеский максимализм во мне протестовал, но спорить не хотелось. «Неужели и я в его возрасте стану таким же пессимистом, скептиком?» — мелькнуло в голове. Он, казалось, прочитал мои мысли.

— Все это суета, — неожиданно смягчился он. — Живи и радуйся жизни. В этом и есть истина. — И, лукаво прищурившись, спросил: — Ну, скажи, я правда похож на сибарита?

— Если судить по вашему холеному виду и аромату дорогих духов, то скорее да, — подколол я с улыбкой.

— Колешь? — притворно ужаснулся он, округлив глаза.

— А почему бы и нет? Не только вам острый язык дан, — отозвался я.

— Иди к черту, — махнул он рукой, незлобно отталкивая меня плечом.

II

В сумрачном лабиринте полутеней, где густой, властный полумрак неохотно делился с внешним миром светотенью, простиралось море. Море чернильно-черное, сапфирово-синее, изумрудно-зеленое — бездонное полотно, уходящее в бесконечность горизонта, где тьма была столь густа, что переставала быть просто цветом, становясь самой субстанцией мрака. В этой горизонтной тьме, словно зловещее светило, пульсировало единственное солнце этого странного мира. Не солнце в привычном понимании, скорее луна, но в сумеречном свете трепетали, бормотали, неутомимо утверждали свое владычество непостижимые нити.

Вдоль берега, словно призрачное шествие, тянулись души, искаженные вечностью. Волна за волной накатывали они, но самого берега боялись, предчувствуя некую незримую границу. Оставшиеся волны, глупо и наивно стремясь к суше, лишь порождали бессильные водовороты, пленяясь в их круговороте, не находя пути назад. Багровый отблеск пульсировал в сознании, и чувствовалось, что море — не просто игра оттенков черного, синего и зеленого, а нечто единое, невыразимое, сакральное. Сакральные волны сакрального моря, вздымаясь в бессильных водоворотах, исторгали из своих глубин протяжный вопль. И шествие искаженных душ, слыша этот зов издали, смеялось, принимало его и отвергало одновременно, гордясь своим отречением от берега, от всего, что было связано с сушей. Их место было не здесь. Глубина манила их, тянула в свои объятия, и оттуда, из мрачных глубин, они взирали на мир. Близость берега не имела для них значения, цели не существовало. Все знание мира, казалось, уже было впитано ими, выстрадано, увидено в тревожных снах. Рассекая последние волны и насмехаясь с презрением, крылья их не встречали сопротивления стихии. Шествие искаженных душ — древнее, уходящее корнями в вечность — однажды приблизившись к берегу и не оставив следов пены, бесшумно проскользнуло сквозь ткань бытия, оставив лишь едва заметную рябь на поверхности вечности, растворилось в морской пучине, продолжая свое созерцание и грезы.

Из зияющей пасти водоворота вырывался стон — жалобный скрип ржавой телеги, смешанный с тяжким вздохом умирающего. Волны, словно эхо этой муки, задыхались и вздрагивали в унисон с агонией пучины. Казалось, вот-вот этот скрип сломится и разразится рыданием, но буря, обещанная небом, запаздывала, томясь в преддверии, где-то за гранью видимого. Все вокруг дышало густым, предгрозовым отчаянием, замерло в напряжении, но слезы так и не хлынули, застыв невысказанной скорбью.

И вдруг, с демоническим хохотом и дерзким кокетством, вальсируя пенными юбками, волна за волной, развратный хор морских блудниц обрушился на каменные зубы берега. На миг показалось, что водоворот умолк, поверженный этой вакханалией. Стихание бури в сердце-вине моря должно было укрепить власть сладостных голосов, но непокорное безмолвие глубин, непрекращающийся скрип телеги, эти подавленные вопли стихии, взбунтовались с яростью. И тогда разгульный хор блудниц бесславно отступил, отказавшись от своей власти над водоворотом. Первоначальная надежда смирить стихию разбилась вдребезги о холодный рассудок бескрайнего океана, осознав свою тщетность и ничтожество, и понуро растворилась в бесконечном шествии призрачных волн.

Заунывные вопли водоворота казались вечными, но постепенно, еле слышно, они превратились в тревожный шепот. Тревога росла, густела, пока не перестала быть просто тревогой — это был глухой, непримиримый протест. Оставшиеся волны — разъяренные звери, набросились друг на друга, теснясь и рвясь вперед. И от этого яростного столкновения море раскололось, разверзлось, и с гулом, нарастающим из недр, восстало мятежное негодование последних стражей пучины.

Мои рассказы, словно неприкаянные странники, возвращались ко мне, отвергнутые и непринятые, один за другим, подобно похоронным звонам по моим литературным амбициям. Каждый отказ оставлял на душе рубец, невидимый, но ощутимый, как укол ледяной иглы. В этом нескончаемом потоке отрицательных ответов забрезжил луч неожиданности — главный редактор одного из литературных журналов пожелал личной встречи. Он решил отступить от протокольной холодности официальных отписок, от этих заученных, будто отлитых из свинца, стандартных фраз, которые обычно погребали надежды начинающих авторов. Вместо бездушного сухого письма, где казенным языком сообщалось о «тяжеловесности стиля» и «нецелесообразности публикации ввиду предполагаемого читательского спроса», он избрал путь прямого разговора. Редактор, уставший, вероятно, от механического штампования отказов, вознамерился провести со мной своеобразный литературный ликбез, словно хирург, готовый вскрыть гнойник иллюзий и пролить свет на неприглядную правду литературного бытия. Он собирался не просто отказать — он хотел открыть мне глаза, сорвать пелену наивности и показать мир литературы таким, каков он есть, во всей его неприветливой реальности.

Две томительные недели протекли в тревожном ожидании, прежде чем меня вызвали на ту самую, столь желанную и одновременно пугающую, встречу. Главный редактор, восседавший в своем кабинете, погруженном в полумрак, приветствовал меня сдержанным кивком. Его лицо, испещренное сетью мелких морщин, хранило печать усталости и мудрости прожитых лет, а взгляд, тяжеловесный и пронизательный, как рентген, пронизывал насквозь, заставляя невольно съежиться под его пристальным вниманием.

— Многим ли тернистыми путями литературных рассылок вы отправили свое творение? — спросил он, нарушив напряженное молчание кабинета. Голос его звучал ровно, но вкрадчивые интонации выдавали скрытое напряжение.

— Нет, — прозвучал мой голос, едва уловимый шепот в этом кабинете власти и книжных стеллажей. — Пока только вам... — я запнулся, не до конца уверенный, стоит ли облекать в слова трепетную надежду, что еще теплилась в душе.

— Превосходно, — изрек он, и в голосе его проскользнуло нечто, заставившее меня насторожиться, словно предвестие грозы в безоблачный день. — Я... я предпочту сделать вид, будто ваша рукопись не покидала пределов вашего письменного стола.

— Простите... не понимаю... — пробормотал я, нахмутив брови в недоумении. Слова редактора повисли в воздухе, как тяжелые капли свинца, обжигая своим непостижимым смыслом.

— И не стоит искать разгадок в лабиринтах логики, — вздохнул редактор, откинувшись на спинку кресла, будто под бременем непосильной ноши. — Мне... мне искренне жаль вас, юноша. Ваш талант — это кинжал обоюдоострый, и если не научитесь владеть им с осмотрительностью, он обратится против вас же. Вас... вас не просто отвергнут, вас будут преследовать с неумолимостью рока, словно тень за грешником. Он сделал паузу, давая мне время осознать всю горечь его слов. — Измотают жерновами лагерей, превратят в тень в стенах психиатрических лечебниц.

В комнате воцарилось тягостное молчание, нарушаемое лишь тихим тиканьем часов, отсчитывающих секунды моей рушащейся литературной мечты.

— Смирите свой пыл, обуздайте строптивое перо, обратите взор к иным сюжетам. Оглянитесь вокруг — разве не видите вы россыпи героических деяний, достойных воспевания? Пишите о них, воспевайте их подвиги! — в голосе редактора прозвучали нотки настойчивого убеждения, граничащего с отчаянием. — Не испытывайте судьбу, не играйте с огнем. Мы — малый народ, песчинка на карте мира, о чьем существовании великие державы и не подозревают. Вас раздавят, как мошку, не дрогнув ни единым мускулом, и мир не содрогнется, не обронит и слезинки. Это им, властителям дум и территорий, дозволено покровительствовать

диссидентствующей литературе... Ибо для них, для небожителей литературного Олимпа, худшее возмездие — изгнание, билет в один конец, путь к Нобелевской премии и бессмертию. С нами же церемониться не станут, нас просто сотрут с лица земли, прокатятся катком равнодушия, не удостоив и презрительным взглядом.

Отчаяние волной захлестнуло меня, слова редактора, словно приговор, выжгли все надежды.

— Не могу... не в силах... писать иначе, — прозвучал мой отчаянный шепот, будто крик души, запертой в клетке.

— В таком случае, — отрезал редактор, в голосе его звенел металл, — забудьте о писательстве, пока не поздно обратитесь к иному ремеслу, если не желаете постичь азы швейного мастерства в сибирских краях, не столь отдаленных от мест лишения свободы. Его взгляд стал жестким, не оставляющим места для возражений. — И да пребудет эта беседа между нами, как тайна, запечатанная семью печатями. Вы ведь осознаете, что и я, проявив минуту человеческого сострадания, подвергаю себя немалому риску.

В кабинете вновь повисла тишина, тяжелая и гнетущая, словно надгробная плита, положенная на мою литературную судьбу.

Я покинул его кабинет, вязкий воздух которого, казалось, был пропитан удушливыми испарениями казенщины и лжи, с кристальной ясностью осознавая коварную направленность его слов, хитросплетенную паутину его желаний. Он стремился к большему, нежели простому подчинению — его целью было истерзать, выпотрошить самую суть моего естества, превратить меня в безвольного и покорного агнца этой гнетущей, пропитанной лицемерием системы. Он вожделем видел меня в рядах благонамеренных блюстителей порядка, того самого порядка, который душил свободу и творчество, убеждая, с притворной отеческой заботой, что лишь так я избежну «глупостей», способных погубить мою юную жизнь, ведь впереди меня ждет, якобы, ослепительное и безоблачное будущее в гармоничном единстве со всеми «гражданами» этой колоссальной, но насквозь прогнившей державы.

Однако, среди потока лживых увещаний, словно заноза под ногтем, засела одна его фраза, пронзившая меня своей неожиданной правдивостью. Идея эта, подобно семени, брошенному в плодородную почву отчаяния, начала прорасти в моем сознании: необходимо перевести мои литературные опыты и предпринять дерзкую попытку опубликовать их в землях Запада, окутанных туманом загадочности и манящих призрачной свободой. В таком случае, я рассуждал, взвешивая все «за» и «против» на весах внутреннего суда, самое суровое наказание, которое они, эти вершители судеб, смогут себе позволить — это лишь бесцеремонно выдворить меня за пределы родных границ, не посмея прибегнуть к физическому уничтожению. Хотя, тут же вкрадывалась зловещая тень сомнения, кто знает, что на самом деле они могут себе позволить, именно с нами, с теми, кто посмел усомниться в их непогрешимости. Вполне вероятно, что вместо приевшейся и уже не столь устрашающей 58-й статьи, они с легкостью пришьют какую-нибудь иную, уголовную статью, еще более изощренную и пугающую своей абсурдностью, и тогда — прощай, светлая мечта о творчестве и свободе. Ведь я далеко не первый и, увы, не последний, кто попал в жернова этой безжалостной машины, перемалывающей судьбы и ломающей хребты несогласным.

В мучительном неведении томились долгие дни, полные зловещего ожидания. Не покидал навязчивый вопрос, раздастся ли зловещий звонок из мрачных недр всемогущих органов, или же чаша сия минет меня. Как же наивен я был, питая робкую надежду, что моя обезличенная аллегория о бушующем море страстей и вольнодумия будет принята за невинную импрессионистическую зарисовку, невинную пейзажную миниатюру, и на том дело и замкнется. Но нет, они раскусили мой замысел с пугающей проницательностью, словно рентгеновским взглядом просветив насквозь мою лицемерную невинность.

Сейчас, должно быть, моя злополучная рукопись кочует по лабиринтам кабинетов этого мрачного учреждения, обрастая грифом «Совершенно секретно» и комментариями, написанными канцелярским почерком. Там, в этих пыльных хранилищах власти, тщательно препарируют каждый оборот речи, выискивая крамолу между строк, вычленивая завуалированные смыслы, скрытые за маской безобидного повествования. И выносят свой безжалостный вердикт о моей дальнейшей судьбе: немедленно обрушить карающий меч или пока отложить казнь, предавая меня мукам томительного ожидания.

Скорее всего, меня ждет показательная порка в виде профилактической беседы и напутственных слов главного редактора, прозвучавших как ледяное предупреждение. Эти слова, как заточенные кинжалы, вонзились в мою душу, уже стали моим первым, изощренным наказанием, бьющим не по телу, а по духу. «Одумайся», — вот что недвусмысленно прозвучало в каждом их слове, словно высеченное на камне предостережение.

Я понял, что отныне я у них на карандаше, под неусыпным оком бдительной цензуры и всевидящего ока государства. Зарубежные поездки отныне превратились в несбыточную мечту, словно захлопнулась передо мной железная дверь. Эфиры на радио и телевидении отныне для меня заказаны, превратились в недостижимую высоту, ведь для каждого выхода в эфир требуется благословение свыше, которое мне отныне не получить никогда, будто печать молчания легла на мои уста. Микрофон, этот символ голоса и доступа к широкой аудитории, отныне стал для меня чем-то запретным, недостижимым, как звезда на ночном небе. Каждый раз, когда я представляю себе студию, звукорежиссера за пультом, в моей груди поднимается горечь и бессильная злоба. Ведь чтобы твой голос зазвучал в эфире, необходимо было получить негласное, но непреложное разрешение, некое «благословение» от тех, кто держит нити власти. И это благословение мне отныне не видать, словно захлопнулась тяжелая, звуконепроницаемая дверь, отрезав меня от эфира, от голоса, от возможности быть услышанным. Тишина, глухая, непроницаемая тишина — вот мой новый эфир, моя неизбежная реальность.

«Да пропади они все пропадом, без единого исключения,» — пронеслось в сознании, как удар колокола, возвестившего о бесповоротности грядущего. Впрочем, если вдуматься, для меня, по сути, ничего не изменилось. Я и так, словно тень, изначально пребывал в статусе неблагонадежного элемента для этой страны, был априори лишен всяческих иллюзий и привелегий, неся на себе родовое клеймо потомка репрессированных, наследника так называемых врагов народа. Однако, где-то в глубине души, едва различимым, трепетным огоньком мерцала некая зыбкая надежда — касательно фигуры главного редактора. Хотелось верить, что он не просто винтик в этой системе доноительства и всеобщего подозрения. Вопреки мрачному горизонту предстоящего, таилось неотступное желание удостовериться, что его публичное беспокойство о судьбах детей его малочисленного народа — это не искусно разыгранный спектакль, а искреннее, подлинное излияние сердца, продиктованное не конъюнктурой, но глубинной человеческой эмпатией.

Дни, некогда тягучие и размеренные, ныне неслись с головокружительной стремительностью, как песок сквозь пальцы времени. Черда рассветов и закатов мелькала за окном, но не приносила ни умиротворения, ни желанной перемены. Зловещая тишина окутала меня, словно плотный мрак. Ни единого звука, ни тревожного звонка, ни властного призыва — лишь тягостное безмолвие, которое гнетуще давило на сознание. Это необъяснимое равнодушие, эта нарочитая незаинтересованность пугала гораздо больше, чем открытая угроза.

В этом сомнительном мареве неопределенности я продолжал предаваться своему занятию — кропотливо выводить строки, создавая призрачные образы и сплетая бумажные лабиринты рассказов. Каждый абзац, каждая страница становились тихим криком в пустоту, пониманием обреченности этих литературных потуг. Я прекрасно осознавал, что эти плоды моего воображения, эти хрупкие создания из слов, предназначены для забвения, для безжалостного

поглощения временем. Их ждала участь неоконченных черновиков, пылящихся в дальнем углу, немим укором несостоявшейся судьбы.

Но постепенно, словно утренний туман, начали рассеиваться тревоги и беспокойства, некогда терзавшие мою душу. На смену им пришло обманчивое затишье, призрачная надежда, что шторм миновал, а буря улеглась. Наивная мысль, словно хрупкий цветок, пробилась сквозь асфальт сомнений: «Неужели эта безрассудная авантюра, это опрометчивое погружение в пучину неизвестности, благополучно завершилась?» И, поддавшись этой иллюзии благополучия, я вновь ощутил прилив сил, будто глотнул свежего воздуха после долгого заточения. Грудь наполнилась глубоким, свободным дыханием, и я, казалось, вернулся к подобию прежней жизни — размеренной, спокойной, без видимых стрессов и потрясений.

Однако, это внешнее спокойствие было лишь тонкой пленкой, скрывающей внутреннее напряжение, постоянную готовность к молниеносному удару, к неожиданному повороту судьбы. Глубоко внутри, подобно тлеющим уголькам, теплилось предчувствие, не давая окончательно расслабиться и поверить в иллюзорное благополучие. Я жил, как на вулкане, наслаждаясь кратким мигом передышки, но при этом оставаясь настороже, внутренне собран и готов к любому, даже самому неблагоприятному, развитию событий. Сердце билось ровнее, но в каждом ударе чувствовалась сдержанная сила, готовая в любую секунду откликнуться на зов опасности.

Самое страшное и невыносимое воспоминание, которое гложет меня, словно ржа, разъедающая изнутри, — это варварское похищение моего деда. Он был варварски, среди бела дня, вырван из жизни в зловещем тридцать седьмом году, в этой эпохе мрака и всепоглощающего страха, когда тень репрессий накрыла страну: в самом разгаре лекции, не дав ему донести до слушателей последнюю мысль, не позволив завершить интеллектуальный полет, его схватили прямо на кафедре, на глазах застывших в ужасе студентов. Это было сделано с нарочитой, демонстративной жестокостью, с единственной целью — публично растоптать его достоинство, унижить и сломать в глазах учеников, сделать назидательный пример из ученого мужа. Это была психология не просто палачей, но настоящих духовных каннибалов, для которых ученый, мыслитель, интеллектуал — всего лишь питательный ресурс, мозговая снедь, предназначенная для их ненасытной утробы и больше ничего. Единственной жалкой милостью, которой они удостоили моего деда, было циничное разрешение, словно брошенная кость, — позволить ему по пути в небытие заехать домой и собрать свои драгоценные рукописи, страницы его незаконченного романа, в которых билось живое сердце его творческой души. Что мог знать этот благородный, наивный человек, мой бедный дед, что эти хрупкие листы, хранящие в себе плоды его разума и сердца, разделят его участь, канут в лету вместе с ним, обратившись в безвозвратную пыль забвения? И как же назвать ту бесчеловечную, богопротивную страну, которая похитила не только жизнь, но и саму суть его существования — его мысли, его идеи, лишив меня, его потомка, священного, унаследованного по праву крови, права прикоснуться к его духовному миру, погрузиться в глубину его размышлений, остаться наедине с мудростью его веков?

Долгое затишье — обманчивая гладь перед бурей, — сменилось внезапным и тревожным отзвуком прошлого: ко мне обратился секретарь партийной организации театра. Человек, чья невысокая фигура всегда казалась несколько пригнутой под бременем партийных забот, явился ко мне спустя какое-то время, когда в душе уже начала прорастать робкая надежда на то, что все неприятности остались позади, погребенные под спудом забвения. Он возник как тень из прошлого, неся с собой весть о неожиданной жалобе, подобно мрачной птице, приносящей дурные предзнаменования. Секретарь, чей возраст было трудно определить за пеленой неизменной серьезности и аккуратно подстриженных усиков, пытался скрыть свою лысину с маниакальной тщательностью, достойной лучшего применения. Он использовал скудный ресурс волос, произраставших на затылке и висках его малюсенькой головы, как драгоценный строительный материал. Эти островки густой растительности он ежедневно превращал в сложное

архитектурное сооружение, зачесывая их вперед и набок с геометрической точностью, создавая причудливую прическу, которая скорее напоминала тщательно выстроенный камуфляж, нежели естественное украшение. Для обеспечения непоколебимой прочности этого хрупкого творения секретарь щедро использовал театральный клей — мощный фиксатор, способный, казалось, выдержать натиск самых яростных ветров. Эти ветры, назойливые гости, часто навывались в наш город, зажатый в тиски сумрачных ущелий, у подножия величественных гор, чьи заснеженные вершины гордо взирали на суету мирской жизни. Город, раскинувшийся вдоль лениво текущей реки, словно причудливое ожерелье, был подвержен капризам стихии, и секретарь, видимо, опасался, что даже самый легкий порыв ветра мог бы развеять его тщательно выстроенную иллюзию волосяного покрова, вероломно обнажая предательскую лысину и разрушая созданный им образ непоколебимого партийного функционера. Он боялся этих ветров, этих неугомонных скитальцев, которые, будто игривые демоны, то и дело врывались в узкие улицы, способные одним небрежным дуновением сорвать маску, разоблачить тщательно скрываемую уязвимость.

— Меня известили: поступил весомый сигнал, что из-под твоего пера вышел опус, имеющий ярко выраженный антисоветский окрас, — изрек человек, чей кругозор, казалось, ограничивался лишь последней полосой дешевых газет. Его голос, лишенный интонаций, звучал как механическое воспроизведение заученных фраз, словно он сам был лишь винтиком в бездушной машине идеологической бдительности.

— Неужели? — с нарочитой невинностью спросил я, стараясь скрыть иронию, просачивающуюся сквозь каждое слово.

Человек этот, облаченный в серый костюм, отлитый из цемента, продолжил, не обращая внимания на мой вопрос, будто я был лишь эхом в его монологе:

— Да, именно так. Сигнал, как я уже сказал, был получен, достиг надлежащих инстанций, и у меня нет ни малейшего основания подвергать его сомнению. Тем более, нет у меня и права игнорировать его, не предприняв соответствующих мер. Хотя, признаться честно, и по логике вещей было бы куда целесообразнее к этому самому сигналу приложить и копию твоего, с позволения сказать, «творения». Но, видимо, там, на самом верху, лучше осведомлены о методах работы, им виднее, как говорится. А тебе я вот что скажу, по-отечески, можно сказать, посоветую: не предавайся глупостям, займись делом! Посмотри на меня, вот я, например, всего добился сам, с абсолютного нуля начинал. В юности, чтобы прокормиться, бумажные пакеты клеил, знаешь ли, чтобы хоть как-то выжить в этом жестоком мире. И ничего, не сломался, видишь, где я теперь!

— Клеить пакеты — это, знаете ли, не каждому дано, это, пожалуй, дар свыше, — отозвался я, вкладывая в свои слова густую, почти осязаемую дозу сарказма.

— Возможно, возможно и так, — не уловил он иронии, погруженный в воспоминания о своем героическом прошлом. — Я просто хотел донести до твоего сознания, что когда-то я клеил эти самые пакеты, а теперь я — секретарь партийной организации целого театра! Почувствуй, как говорится, разницу!

— И, смею предположить, продолжаете клеить, только теперь уже несколько иные... пакеты? — не удержался я от колкости, наблюдая, как его брови медленно ползут вверх, словно гусеницы, готовящиеся к атаке.

— Что ты имеешь в виду? — прозвучало в его голосе недоумение, смешанное с подозрением. Казалось, он силится разгадать ребус, который я ему подобрал.

— Только то, что, как мне кажется, для вас, по сути, ничего не изменилось. Раньше вы кропотливо клеивали бумажные пакеты, а теперь, с не меньшим усердием, но уже в новых декорациях, клеиваете усы и парики для бездарных актеров, создавая иллюзию таланта и глупбины там, где царит лишь пустота и фальшь. Не так ли?

Лицо его побагровело, словно перезрелый помидор. Он, видимо, осознал, наконец, что я не намерен играть по его правилам, что моя ирония — это не просто случайная острота, а сознательное сопротивление его давящей серости.

— Глупости! — рявкнул он, отбросив маску благодушия. — Ты хоть осознаешь, что от меня сейчас ждут твою характеристику, официальный отзыв, который будет приложен к общему делу, и этот документ может сыграть решающую, ключевую роль в твоей дальнейшей судьбе! Ты понимаешь серьезность момента?

— А что вы, собственно, можете обо мне написать? — спокойно спросил я, наблюдая, как его гнев, подобно волне, накатывает на берег. — Вы ведь, как сами признались, не читали мой рассказ. И даже если бы и удосужились прочесть, смею предположить, вряд ли бы что-нибудь поняли. Напишите, что я наотрез отказываюсь клеить ваши проклятые фальшивые усы, что я, как актер, предпочитаю глубокое внутреннее перевоплощение, а не внешние, дешевые финтифлюшки, и что это, несомненно, аморальное, буржуазное, чуждое нашему народу явление? Можете так и написать, пожалуйста! Я даже подпишусь под каждым словом!

Он замолчал, словно подавился собственной злостью. Несколько секунд в воздухе висела напряженная тишина, нарушаемая лишь тиканьем часов, отсчитывающих, казалось, не только время, но и мою судьбу.

— Я сделаю вид, что не расслышал этой... этой твоей... выходки, — выдавил он сквозь зубы, стараясь сохранить остатки самообладания.

— Вряд ли, — усмехнулся я, понимая, что его угрозы — не пустой звук. — Вас всех, мне кажется, одна мать родила, вы как из общего инкубатора, честное слово. Еще один такой же сердобольный деятель, буквально на днях, по его словам, героически закрывал глаза на мои «недостатки», но я не успел выйти за порог его кабинета, как он тут же, словно заведенный, побежал и, как дятел, принялся стучать во все возможные и невозможные двери, донося на меня, я уверен. Я прекрасно знаю, что вы обо мне напишете, не сомневаюсь ни секунды. Спешите, пока флаг и власть, как вы любите выражаться, в ваших руках. Время не ждет, пока есть возможность — клейте, пишите, губите. Это ведь так в вашем стиле, не правда ли?

Моя непреодолимая нетерпимость к крысам, эта жгучая антипатия, достигла критической отметки, перешагнув границы простого отвращения и превратившись в глубоко укоренившуюся фобию. Я предчувствую, что эта всепоглощающая неприязнь, подобно роковой ошибке в трагедии, неизбежно станет причиной моей гибели. Ибо невозможно долго жить в состоянии перманентного ужаса, когда эти мерзкие грызуны, с их скользкими телами и пронзительными глазками-бусинками, становятся неотъемлемой частью моего повседневного существования, заполняя каждый уголок моего зрительного восприятия. Единственная, слабая надежда маячит в туманной дали, — это внезапное и чудесное избавление. Я грежу о божественном вмешательстве, о необъяснимом акте милосердия, который избавит мир от этого гнусного нашествия. Я лелею иллюзорную мечту о том, что некая сверхъестественная сила, подобно невидимой руке судьбы, вмешается в естественный ход вещей и искоренит крыс с лица земли. Но, увы, суровая реальность безжалостно разбивает хрупкие стекла иллюзий. Пока что, в мрачном пейзаже моего отчаяния, не возникает даже намек на спасительное чудо. Не видно того сказочного флейтиста, зачарованного музыканта, чьи волшебные мелодии обладали бы гипнотической властью над этими отвратительными созданиями. Нет того, кто смог бы собрать крыс в дисциплинированную колонну, построить их в бесконечную вереницу, словно траурную процессию, и повести их к бурлящим водам городской реки. И там, в экстазе освобождения, в неопишемом восторге, бросить эту живую волну в безжалостную пучину, в водоворот стихии, чтобы они исчезли навеки, растворились в темных глубинах, безвозвратно канув в водяную бездну. Увы, эта сладостная фантазия остается лишь горьким миражом в безводной пустыне моего крысиного кошмара.

III

В душном мареве летнего утра, когда комариный хор, утомленный ночной вакханалией, утратил свою былую назойливую дерзость и умолк над пыльной дорогой, вившейся извилистой лентой вдоль медлительной реки, тая в зыбкой молочной дымке предрассветной дали, откуда, сотканный из призрачного света и тумана, выплывал величавый клин диких уток, мерно рассекающих влажный воздух усталыми, но упорными крыльями, там, где река, словно серебряная змея, прихотливо извиваясь среди пожухлой травы, истончалась до едва заметной струйки, он, в выцветшей, поношенной военной гимнастерке, хранящей память о баталиях и походах, брел по булыжной мостовой пустынной улицы угрюмого и безликого северного города, погруженный в глубокие раздумья, в вязкий туман собственных воспоминаний. Его разум занимала странная, почти метафизическая загадка, тревожившая его не меньше, чем свист пуль над головой: почему северное солнце, бледное и отстраненное, чужое и недоброе светило, дарит иное, холодное, отчужденное тепло, нежели ласковое, обволакивающее светило южных окраин, где прошло его детство, наполненное ароматом степных трав и пением цикад? Ведь упрямый столбик термометра не обманывал, неумолимо показывая ту же самую температуру, что и в родных, далеких краях, где солнце проникало внутрь, согревая кости до самого мозга, словно раскаленная печь, и разливало благодатное, живительное тепло по всему уставшему телу, как бальзам на израненную душу. Здесь же, северное, злое светило, будто бессильное пробить толстую броню северной кожи, лишь опаляло поверхность, не стремясь проникнуть вглубь, в царство вечного, ледяного покоя, туда, где, казалось, затаилась сама смерть. И казалось ему, что причина тому — не только географическая широта, но и царящая вокруг гнетущая пустота, безлюдность и отрешенность улиц, словно вымерших после чумы. Северяне, будто лесные звери, укрывшись в своих мрачных домах за плотно закрытыми ставнями, отгородившись от всего мира непроницаемой стеной, дорожат своим угрюмым уединением, словно высшей добродетелью, и, быть может, в этом их непостижимая правда — в этом гордом, неприступном одиночестве, в этой ледяной отстраненности, которая кажется им силой, а не слабостью. Рабское подобострастие и пресмыкательство южан не оставляли ни тени сомнения: да, грубость — верный путь к господству, словно негласное правило, высеченное на скрижалях предубеждения, гласящего, что Юг навеки подчинен Северу.

Дождь обрушился на город с торжествующей мощью, подобно раскатам вагнеровской увертюры, где симфония струнных и духовых инструментов сплеталась в единый, громогласный аккорд. Ритм дождя, чеканный и властный, был подобен мажорному маршу барабанов, и в этом дисциплинированном развертывании стихии чувствовалась строгая, классическая выверенность, словно сама природа подчинялась неумолимым законам музыкальной формы. Однако, постепенно укрощая свой первозданный натиск, буйная агрессия стихии начала смягчаться. Мажорное ликование барабанной дробы уступило место минорным аккордам клавишных, будто сумрачная меланхолия проникла в звучащую палитру дождя. Из оркестра стихии были изгнаны резкие тромбоны и прочие медно-голосые инструменты, оставив лишь бархатное звучание валторны и трепетное шептание струнных. И вот, музыка дождя, незаметно перетекая из бурного вихря в задумчивое умиротворение, плавно подвела к своей лейтмотивной теме, к неизбежному и утомительному мотиву нашего города: проливному, затяжному и, казалось, бесконечному ливню, который, словно надоедливый, но привычный гость, с пугающей регулярностью посещал древние улицы нашего города, пропитанные пылью веков и шепотом истории.

— Мои суставы, как чуткий барометр, безошибочно предвещают дождь за сутки, — промолвил главный редактор радиовещания, глядя на унылый, мокрый город за окном.

— Как это проявляется? — поинтересовался я.

— Острой, пронизывающей болью, будто спицы в кости вгоняет. Обычный ревматизм, ничего сверхъестественного, — проворчал он, поморщившись.

— Если это хоть немного облегчит ваше страдание, скажу, что многие мучаются от болей в суставах. Но вот вопрос, все ли они метеорологи от природы, или это редкий дар, доставшийся лишь вам?

— Утешил, — усмехнулся он, и в глазах мелькнул ироничный огонек. — Говорят, ты опять какой-то фокус выкинул?

— Фокус? — переспросил я, делая вид, что не понимаю подтекста.

— Да, фокус. Что за рассказ ты на этот раз сочинил?

— Неужели создание рассказа вы теперь именуете фокусом?

— Ну, хватит притворяться, ты прекрасно понял, что я имею в виду.

— Мой ответ неоднозначен, он, скорее, риторический, — раздраженно отозвался я. — В вашей системе координат, вероятно, можно и так окрестить. Более того, можете добавить, что я не только фокус выкинул, но и покусился на святое — моральные устои нашего могучего государства.

— Сарказм оставь при себе, сейчас не до шуток. Мне нужно решить, что с тобой делать.

— А у вас есть свобода выбора? — спросил я с нескрываемым злорадством.

— В том-то и трагедия, что выбора у меня как раз и нет.

— Тогда в чем смысл вопроса? Живите спокойно и забудьте, что от вас хоть что-то зависит.

— Дело в том, что я не хочу тебя терять. Ты читаешь прозу бесподобно, просто завораживающе. Голос твой — бархат для микрофона, редкий дар гармонии. Такое сочетание встречается крайне редко, и это не только мое мнение, слушатели тоже ценят твой талант превыше всего. Я получаю горы писем с восторженными отзывами.

— И что из этого следует? — не понял я, хотя предчувствие уже закрадывалось в душу.

— Следовательно, я вижу выход в том, чтобы временно отстранить тебя от прямых эфиров, — произнес он с явным облегчением, словно разрешив древнюю загадку, подобную расшифровке клинописи.

— А у меня есть прямые эфиры? — с притворным недоумением спросил я.

— А кто об этом осведомлен, — лукаво блеснул он глазами.

— Это не лучшая идея, — покачал я головой. — Вы сами прекрасно понимаете, к чему это приведет.

— Да, — кивнул он, — довести до сведения «куда надо» — это уже в планах.

— Именно, — подтвердил я, сдерживая вздох.

— Почему ты так нелестно отзываешься об этой стране? Ведь нам словно из ничего подарили страну, — вдруг сменил он тему.

— Страну подарили? — усмехнулся я, не веря своим ушам.

— Да, страну. Пусть и квази-страну, но все же страну. Они по крохам, с огромным трудом, ценой невероятных усилий собрали разбросанных по миру соотечественников из Восточной и Западной Армении, расселили их на землях Эриванского и Нахичеванского ханств, которые по Туркманчайскому договору отошли к России. Россия и стала колыбелью нашей новорожденной страны. — Похоже, эта мысль впервые обретала четкие очертания в его не слишком проницательном уме, и, воодушевленный своим откровением, он уже потянулся за сигаретой. Не найдя ее ни на столе, ни в ящиках, ни в карманах, он вдруг вспомнил о своем месячном воздержании от курения и, глуповато улыбнувшись своим краснощеким лицом,

будто извиняясь за забывчивость, приготовился повторить свою блестящую идею о подаренной стране. Но я его перебил, не дав ему насладиться своим «озарением».

— Страну, огромную часть которой легким росчерком пера подарили нашим соседям.

— Ты опять за свое? Зато у нас есть безопасное убежище, благодаря которому бесконечные погромы и резня нашего народа ушли в прошлое.

— Да, — согласился я, — деду-литератору, навечно сосланному в тридцать седьмом, другому деду, обратившемуся в прах в Керченской мясорубке, и всему цвету нашей интеллигенции, павшему жертвой «Красного террора» — им всем поведайте эту сказку.

— Довольно, — оборвал он меня, — не забывай, где мы находимся. Здесь стены имеют уши.

Я ступил за порог, в объятия хмурого дня.

Дождь, словно искусный, но обезумевший виолончелист, выводил одну и ту же скорбную мелодию, монотонно и неотступно, погружая пространство в густую, обволакивающую печаль. Капли, невесомые, но настойчивые, барабанили по крышам, тротуарам, листьям деревьев, сливаясь в единый, пульсирующий аккорд уныния. Это был не яростный ливень, а скорее затяжной, нудный плач небес, исполненный в регистрах глубоких альтов и контрабасов. Нежные переливы скрипок отсутствовали, лишь глухие, утробные звуки, извлекаемые не смычком, а легкими, почти невесомыми прикосновениями — будто призрачные пальцы щипали тугие струны мироздания.

Я, ведомый необъяснимым импульсом, брел вдоль мокрых улиц, прислушиваясь к этой завораживающей симфонии летнего дождя. Тонкая сатиновая рубашка, мгновенно сдалась под натиском влаги, прилипнув к телу и став прозрачной, как дымка утреннего тумана. Это зрелище, обычно вызывающее смущение, в этот раз не потревожило меня ни на йоту. Напротив, я ощутил невероятное растворение, сладостное слияние с этой стихией. Каждая капля дождя, как жемчужина, окутывала меня нежным бархатом, ласково смывая, стирая ту липкую, едкую грязь, которой в последнее время безжалостная система щедро осыпала мою душу. Под этим очищающим потоком я чувствовал, как напряжение отступает, как тяжелый груз тревог и разочарований исчезает, уносимый бурным потоком дождевой воды в бездну забвения. И в этом мокром, прозрачном покрове я обретал неожиданную свободу, тихую радость освобождения от оков повседневности.

Гнетущее ощущение интеллектуального одиночества, словно непроницаемая стена, воздвигнутая между мной и окружающим миром, не покидает меня ни на миг. Кажется, будто судьба, в своей ироничной прихоти, поместила меня в окружение умов, чья глубина и проницательность, увы, оставляют желать лучшего. Это не просто легкое неудовольствие, не мимолетное раздражение, но глубокая, проникающая в самую суть тревога, будто предчувствие надвигающейся бури. Меня преследует кошмарная перспектива духовного обмельчания, страх перед грядущим нравственным падением, когда обстоятельства, неумолимые жернова, могут перемолоть все высшие стремления, превратив меня в жалкое подобие человека — существо меркантильное, чье сознание будет отравлено ядом потребительства, а душа иссохнет под бременем приземленных забот. Я боюсь превратиться в тень бывшего себя, в бессловесного раба инстинктов, движимого лишь первобытными позывами, подобно бездумному четвероногому, чье существование ограничено лишь удовлетворением базовых, животных потребностей — пищи, сна и сиюминутного комфорта.

Эта удручающая мысль — ледяной панцирь, сковывает мою душу. Я чувствую, как неумолимая меланхолия, подобно древней богине ночи, раскидывает свои мрачные, бархатные крылья над моим сознанием, нежно, но неотвратно увлекая меня в пучину одиночества. Она манит меня в свои объятия, обещая утешение в отрешенности, но я ощущаю в этом сладостном приглашении холодное дыхание отчаяния, понимая, что одиночество, хоть и может стать вре-

менным убежищем, в конечном итоге лишь усугубит мою духовную изоляцию, замыкая меня в порочном круге самопогружения и безысходности.

Необходимо изыскать лазейку, отыскать тропу сквозь лабиринт отчуждения. Одиночество пленяет лишь в литературных полотнах, достойных пера самого Гюисманса, где герой, утонченный эстет из древнего, угасающего аристократического рода, нисколько не обремененный гнетом финансовых тягот, способен услаждать свое добровольное заточение, окружая себя аурой поразительной, почти неземной красоты и рафинированной эстетики. Но сия идиллия, увы, не являет собой мой случай. И даже при гипотетическом обретении подобной финансовой независимости, нет уверенности, что я безоговорочно встал бы на путь дез Эссента, по пути изощренного самозаточения. Жизненный опыт, этот суровый наставник, научил меня не возводить взор к горизонту в тщетной надежде узреть родственные души, не тратить время на слепое подражание чужим судьбам, вычитанным из пыльных фолиантов. Я никогда не питал иллюзий относительно возможности полного отождествления себя с литературными героями, что томами поглощались в часы бессонницы, ибо понимал, что эти персонажи — лишь тени на стенах пещеры Платона, искусно сотворенные рукой автора, покорные прихотливым веяниям литературных «измов», законам жанра и прочим фикциям творческого процесса... Подлинное же «Я» — это я сам, субъект, замкнутый в собственной неповторимости, и здесь, в этом интимном пространстве, литературные каноны бессмысленны, их предписания не имеют силы: здесь вступают в игру совершенно иные, более фундаментальные онтологические принципы, диктующие ход моего бытия.

Дождь, назойливый и неумолимый, словно вечный плач небес, утомил меня своим монотонным присутствием. Поняв бессмысленность дальнейших скитаний под его ледяными струями, я нырнул в ближайшее кафе — скромное убежище, пропахшее кофе и тишиной, — чтобы хоть немного просушиться и утолить голод, разбушевавшийся к полудню. Завтрак так и остался несбывшимся обещанием утра.

Я позвал официантку — юную особу с мимолетной, почти эфемерной красотой, которая казалась неуместной в этом заведении, как редкий цветок, случайно выросший на серой мостовой. «Что она здесь делает?» — невольно промелькнуло в голове, пока я, стараясь не выдать своего внутреннего смутения, заказывал два яйца Бенедикт.

— Что-что? — переспросила она, округлив глаза с таким изумлением, будто я явился с другой планеты. Ее лицо, и без того отмеченное печатью неземной прелести, стало еще выразительнее от этого искреннего удивления. «Неужели она никогда не слышала об этом блюде?» — промелькнуло в моей растерянной мысли.

— Мне два яйца Бенедикт, — повторил я, чуть громче, с настойчивостью, призванной скрыть собственную неуверенность, — с голландским соусом, разумеется.

— Да пошел ты к черту, — прошипела она, внезапно сбросив маску ангельской кротости, и в ее глазах вспыхнул озорной огонек. — Ты еще скажи, чтобы я тебе их под соусом Сары Бернар подала! Я тебе яйца вкрутую принесу, а ты... выдумывай себе что хочешь.

Она махнула рукой и отошла, а я, ошеломленный, опустился за пустой столик в углу. Сердце бешено колотилось, как пойманная птица, и я почувствовал, как раздражение и усталость поднимаются горькой волной. Даже книга, всегда бывшая моим верным спутником и утешением, теперь казалась чужой и бесполезной. Мозг, переполненный до краев, отказывался воспринимать новые мысли, тонул в мутной пучине тревоги. Это было новым и пугающим ощущением — словно впервые столкнулся с тяжелой, липкой депрессией, не зная, как выбраться из ее цепких объятий.

Кафе, вторя моему настроению, пребывало в полупустом унынии. Официантка, на удивление быстро, вернулась с двумя простыми яйцами вкрутую, парой грубых ломтей ржаного хлеба и небрежным кусочком масла.

— Что будешь пить? — спросила она, уже мягче, уловив, вероятно, мое подавленное состояние. — Только без всяких там изысков, — добавила она, внезапно озарив лицо ослепительной улыбкой, открывая ряд белоснежных, словно жемчуг, зубов. — Могу предложить какао.

— Неси, — отозвался я, не в силах противиться ее обаянию. Улыбка шла ей гораздо больше, чем надменная гримаса, хотя и в холодном высокомерии была своя особая, манящая притягательность.

Мысли снова вернулись к тревожным новостям. Главный редактор радиовещания, похоже, не сможет меня выгородить. Змеиное гнездо стукачей на студии не дремлет. Боюсь, мои воскресные литературно-аналитические передачи прикроют. И это плохой знак, очень плохой. Небольшой, но стабильный доход был существенным подспорьем в моей неустроенной жизни. Теперь же и эта тонкая нить могла оборваться.

Официантка, как тень, скользнула к моему столику, неся в руках дымящийся какао. Ее движения были легки и непринужденны, будто она не официантка, а давняя знакомая, решившая разделить со мной утренний час. Без лишних слов и церемоний, она опустила на стул напротив, ее присутствие наполнило пространство какой-то тихой уверенностью.

— Что это за диковину ты заказал? — в ее голосе прозвучало легкое удивление, — «Яйца Бенедикта»? И непременно с голландским соусом?

— Не «яйца Бенедикта», а «яйцо Бенедикт», — поправил я с улыбкой.

— Пусть будет так, — она махнула рукой, будто отпуская грамматическую придирку.

— Хотел произвести впечатление, — признался я, — увидел в вас музу и решил пустить пыль в глаза, как павлин.

Легкий румянец тронул ее щеки в ответ на мой комплимент. — И часто ты так «форсишь», как выразился?

— Достаточно часто, чтобы лишиться работы, которую любил всем сердцем, вкладывал в нее душу, — вздохнул я.

— Как это связано? — недоумение в ее глазах было искренним.

— Я пишу рассказы, — пояснил я, — которые, видимо, оскорбляют тонкую материю морали нашего государства, противоречат его идеологии. Их отвергают, словно прокаженных, один за другим.

— Значит, ты писатель? — в ее голосе прозвучал оттенок уважения, смешанный с любопытством.

— Можно и так сказать, — произнес я с некоторой неуверенностью.

— Не люблю это выражение, — она поморщилась, — прошу, больше так не говори.

— Почему?

— Терпеть не могу неопределенность, эти «можно и так сказать», «ни то, ни се». Предпочитаю ясность, прямой разговор, без обиняков.

— Хорошо, — согласился я, — больше не повторю.

— Ты находишь меня наглой и навязчивой? — вдруг спросила она, ее взгляд стал прямым и испытующим.

— Почему я должен так думать?

— Я сразу же навязываю свои предпочтения, — пояснила она.

— Мне нравятся люди с предпочтениями, — ответил я, — терпеть не могу бесцветных, безликих.

— Могу тебя успокоить, — ее улыбка вновь озарила лицо, — ты в этом не одинок. Успокоила? — спросила она, искорки смеха заплескали в ее глазах.

— Более чем, — отозвался я, невольно улыбаясь в ответ.

— Ты говоришь, твои писания не соответствуют моральным устоям... — она вернулась к началу разговора.

— Что, я произвожу впечатление нытика? — перебил я.

— Я этого не говорила, — она покачала головой, — тогда послушай: я студентка последнего курса художественного института, живописец. Недавно отнесла несколько своих полотен в художественный салон, надеялась продать. И знаешь, что они сделали?

— Догадываюсь, — протянул я, предчувствуя нечто похожее на свою историю.

— Да! — ее голос стал резче, — они забраковали мои работы, объяснив это... — она сделала паузу, словно переваривая абсурдность ситуации, — объяснив это тем, что я «пропагандирую западные ценности», обвинили в «приверженности нонконформизму».

— Так прямо и сказали? — я был поражен прямоотой формулировки.

— Да! — подтвердила она.

— Значит, ты абстракционистка, — попытался угадать я, вспоминая ее слова о «нонконформизме».

— Можно и так сказать, — она скривилась в усмешке, — словно это клеймо.

— То есть тебе это выражение дозволяется, — подметил я.

— Не думаю, что ты не понял иронии, — ее взгляд стал острым.

— Конечно, понял, но зачем иронизировать над тем, что было вчера? — возразил я, — не люблю ворошить прошлое. То, что было вчера, уже в прошлом.

— Это упрек? — она подняла бровь.

— Нет, — ответил я, — это предложение смотреть вперед.

— И ты никогда не возвращаешься в прошлое? Не верю, — не согласилась она.

— Это касается только отношений, — уточнил я, чувствуя, как разговор начинает витиевато уходить в сторону.

— А у нас есть отношения? — пренебрежительно бросила она, но в ее глазах промелькнул какой-то иной оттенок.

— Прости, — сказал я, решив сменить тему, — ваш этот Марк Ротко меня не особо вдохновляет.

— То есть, перешли к следующему? — она усмехнулась, словно оценивая мою попытку перевести разговор в другое русло.

— Да, — подтвердил я.

— Ты знаком с Ротко? — в ее голосе прозвучало удивление.

— Удивлена?

— Да. А кто тогда твой художник, — с любопытством спросила она, подавшись вперед.

— Караваджо, — ответил я, — а тебе не влетает за то, что ты в рабочее время с клиентами общаешься? — внезапно вспомнил я о ее работе.

— Извини, — сказала она и резко встала, собираясь уходить, словно спохватившись.

— Постой, ты меня не так поняла, — я поспешил остановить ее, — я просто не хочу, чтобы у тебя из-за меня были неприятности на работе.

— Я здесь только на лето работаю, — успокоила она меня, останавливаясь, — скоро начнутся занятия, и я уезжаю в Москву, так что увольнение с работы для меня не велика потеря. — Она улыбнулась, словно легко отпускала эту временную связь с местом, и, возможно, с этим городом.

— Москва? — искреннее удивление прозвучало в моем голосе.

— Ну да, — она кивнула, чуть склонив голову. И вдруг, словно сбросив невидимую маску, заговорила по-русски с отчетливым московским акцентом, что стало ясно: это ее родной язык. — МХИ имени Сурикова.

— «Суриковка», значит, — невольно усмехнулся я, узнав знакомое название.

— Да. А что тебя так развеселило? Что-то с ним не так? — В ее изумрудных глазах вспыхнул живой интерес.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.